

БУЛАТ ОКУДЖАВА

*под
управлением
любви*



Сочинения Булата Окуджавы

Булат Окуджава
Под управлением любви

«АСТ»

2009

Окуджава Б. Ш.

Под управлением любви / Б. Ш. Окуджава — «АСТ»,
2009 — (Сочинения Булата Окуджавы)

В сборник вошла лирика Булата Окуджавы 70–90-х годов.

© Окуджава Б. Ш., 2009

© АСТ, 2009

Содержание

«Часики бьют так задумчиво...»	8
«У Спаса на Кружке забыто наше детство...»	9
«Как время беспощадно...»	10
Проводы у военкомата	11
«О, фантазии на темы...»	12
«На Сретенке ночной надежды голос слышен...»	13
Романс («Стали чаще и чаще являться ко мне...»)	14
«Как хорошо, что Зворыкин уехал...»	15
«Гомон площади Петровской...»	16
О Володе Высоцком	17
Еще один романс	18
«Летняя бабочка вдруг закружилась над лампой полночной...»	19
«Не успел на жизнь обидеться...»	20
Кухня	21
Из стихов к роману «Свидание с Бонапартом»	22
Август в Латвии	23
«У поэта соперников нету...»	24
«С последней каланчи, в Сокольниках стоящей...»	25
«Ну что, генералиссимус прекрасный...»	26
Воспоминание о Дне Победы	27
«Приносит письма письмоносец...»	28
Несчастье	29
«Черный ворон сквозь белое облако глянет...»	30
Работа	31
Песенка о молодом гусаре	32
Надпись на камне	33
Арбатские напевы	34
1. «Все кончается неумолимо...»	34
2. «Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант...»	35
«Я горой за сюжетную прозу...»	36
«Всему времечко свое: лить дождю, Земле вращаться...»	39
Прогулки фраеров	40
Парижская фантазия	41
«Нужны ли гусару сомненья...»	42
Полдень в деревне	43
Дорожная песня	45
Настольные лампы	46
«Глас трубы над городами...»	47
Примета	48
«Поздравьте меня, дорогая: я рад, что остался в живых...»	49
«Внезапно сник мороз, и ртутный столб взлетел...»	50
Перед телевизором	51
«Кого бояться и чего стесняться?...»	52
«Все глуше музыка души...»	53
«Под Мамонтовкой жгут костры...»	54
«Как наш двор ни обижали – он в классической поре...»	55

Мой почтальон	56
«По Грузинскому валу воинственно ставя носок...»	57
«Пока от вранья не отвыкнем...»	58
«Шестидесятники развенчивать усатого должны...»	59
«Славная компания... Что же мне решить?...»	60
Памяти брата моего Гиви	61
Гимн уюту	62
«Не сольются никогда зимы долгие и лета...»	64
«Ну чем тебе потрафить, мой кузнечик?...»	65
Письмо к маме	66
«После дождичка небеса просторны...»	67
Памяти Обуховой	68
«Мне не в радость этот номер...»	69
Конец ознакомительного фрагмента.	70



Булат Шалвович Окуджава
Под управлением любви.
Лирика (70-е – 90-е)



«Часики бьют так задумчиво...»

Часики бьют так задумчиво,
медленно, не торопясь.
И в ожидании лучшего
жилка на лбу напряглась,
хоть понимаю, естественно,
счастья желая себе:
сложится все соответственно
вере, слезам и судьбе.

«У Спаса на Кружке забыто наше детство...»

У Спаса на Кружке забыто наше детство.
Что видится теперь в раскрытое окно?
Все меньше мест в Москве, где можно нам погреться,
все больше мест в Москве, где пусто и темно.

Мечтали зло унять и новый мир построить,
построить новый мир, иную жизнь начать.
Все меньше мест в Москве, где есть о чем поспорить,
все больше мест в Москве, где есть о чем молчать.

Куда-то все спешит надменная столица,
с которою давно мы перешли на «вы»...
Все меньше мест в Москве, где помнят наши лица,
все больше мест в Москве, где и без нас правы.

«Как время беспощадно...»

Как время беспощадно,
дела его и свет.
Ну я умру, ну ладно —
с меня и спросу нет.

А тот, что с нежным пухом
над верхнею губой,
с еще нетвердым духом,
разбуженный трубой, —

какой счастливой схваткой
разбужен он теперь,
подкованною пяткой
захлопывая дверь?

Под звуки духовые
не ведая о том,
как сладко все впервые,
как горько все потом...

Проводы у военкомата

Б. Биргеру

Вот оркестр духовой. Звук медовый.
И пронзителен он так, что – ах...
Вот и я, молодой и бедовый,
с черным чубчиком, с болью в глазах.

Машут ручки нелепо и споро,
крики скорбные тянутся вслед,
и безумцем из черного хора
нарисован грядущий сюжет.

Жизнь музыкой бравурной объята —
всё о том, что судьба пополам,
и о том, что не будет возврата
ни к любви и ни к прочим делам.

Раскаляются медные трубы —
превращаются в пламя и дым.
И в улыбке растянуты губы,
чтоб запомнился я молодым.

«О, фантазии на темы...»

В. Войновичу

О, фантазии на темы
торжества добра над злом!
В рамках солнечной системы
вы отправлены на слом.

Торжествует эта свалка
и грохочет, как прибой...
Мне фантазий тех не жалко —
я грущу о нас с тобой.

«На Сретенке ночной надежды голос слышен...»

На Сретенке ночной надежды голос слышен.
Он слаб и одинок, но сладок и возвышен.
Уже который раз он разрывает тьму...
И хочется верить ему.

Когда пройдет нужда за жизнь свою бояться,
тогда мои друзья с прогулки возвратятся,
и расцветет Москва от погребов до крыш...
Тогда опустеет Париж.

А если все не так, а все как прежде будет,
пусть Бог меня простит, пусть сын меня осудит,
что зря я распахнул напрасные крыла...
Что ж делать? Надежда была.

Романс («Стали чаще и чаще являться ко мне...»)

Стали чаще и чаще являться ко мне
с видом пасмурным и обреченным
одна дама на белом, на белом коне,
а другая на черном, на черном.

И у той, что на белом, такие глаза,
будто белому свету не рады,
будто жизни осталось на четверть часа,
а потом – всё утраты, утраты.

И у той, что на черном, такие глаза,
будто это – вместилище муки,
будто жизни осталось на четверть часа,
а потом – всё разлуки, разлуки.

Ах, когда б вы ко мне заглянули в глаза,
ах, когда б вы в мои поглядели, —
будто жизни осталось на четверть часа,
а потом – всё потери, потери.

«Как хорошо, что Зворыкин уехал...»

Кириллу Померанцеву

Как хорошо, что Зворыкин уехал
и телевиденье там изобрел!
Если бы он из страны не уехал,
он бы, как все, на Голгофу взошел.

И не сидели бы мы у экранов,
и не пытались бы время понять,
и откровения прежних обманов
были бы нам недоступны опять.

Как хорошо, что уехал Набоков,
тайны разлуки ни с кем не деля.
Как пофартило! А скольких пророков
не защитила родная земля!

Был этот фарт ну не очень-то сладок.
Как ни старалась беда за двоих,
всё же не выпали в мутный осадок
тернии их и прозрения их.

Как хорошо, что в прозрении трудном
наши глаза застилает слеза!
Даже и я, брат, в моем неуютном
благополучии зрю небеса.

Что же еще остается нам, кроме
этих, еще не разбитых оков?
Впрочем, платить своей болью и кровью —
это ль не жребий во веки веков?

«Гомон площади Петровской...»

О. В. Волкову

Гомон площади Петровской,
Знаменка, Коровий вал —
драгоценные обноски...
Кто их с детства не знавал?

Кто Пречистенки не холил,
Божедомки не любил,
по Варварке слез не пролил,
Якиманку позабыл?

Сколько лет без меры длился
этот славный карнавал!
На Покровке я молился,
на Мясницкой горевал.

А Тверская, а Тверская,
сея праздник и тоску,
от себя не отпуская,
проводжала сквозь Москву.

Не выходят из сознания
(хоть иные времена)
эти древние названья,
словно дедов имена.

И живет в душе, не тая,
пусть нелепа, да своя,
эта звонкая, святая,
поревшая семья.

И в мечте о невозможном
словно вижу наяву,
что и сам я не в Безбожном,
а в Божественном живу.

О Володе Высоцком

Марине Владимировне Поляковой

О Володе Высоцком я песню придумать решил:
вот еще одному не вернуться домой из похода.
Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил...
Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа.

Ненадолго разлука, всего лишь на миг, а потом
отправляться и нам по следам по его по горячим.
Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон,
ну а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем.

О Володе Высоцком я песню придумать хотел,
но дрожала рука и мотив со стихом не сходился...
Белый аист московский на белое небо взлетел,
черный аист московский на черную землю спустился.

Еще один романс

В моей душе запечатлен портрет одной прекрасной
дамы.

Ее глаза в иные дни обращены.

Там хорошо, и лишних нет, и страх не властен
над годами,
и все давно уже друг другом прощены.

Еще покуда в честь нее высокий хор поет хвалебно
и музыканты все в парадных пиджаках.

Но с каждой нотой, Боже мой, иная музыка
целебна...

И дирижер ломает палочку в руках.

Не оскорблю своей судьбы слезой поспешной
и напрасной,

но вот о чем я сокрушаюсь иногда:

ведь что мы сами, господа, в сравнение с дамой
той прекрасной,

и наша жизнь, и наши дамы, господа?

Она и нынче, может быть, ко мне, как прежде,
благосклонна,

и к ней за это благосклонны небеса.

Она, конечно, пишет мне, но... постарели
почтальоны,

и все давно переменились адреса.

«Летняя бабочка вдруг закружилась над лампой полночной...»

Летняя бабочка вдруг закружилась над лампой
полночной:
каждому хочется ввысь вознестись над фортуной
непрочной.
Летняя бабочка вдруг пожелала ожить в декабре,
не разглагольствуя, не помышляя о Зле и Добре.

Может быть, это не бабочка вовсе, а ангел небесный
кружит и кружит по комнате тесной с надеждой
чудесной:
разве случайно его пребывание в нашей глуши,
если мне видятся в нем очертания вашей души?

Этой порою в Салослове – стужа, и снег, и метели.
Я к вам в письме пошутил, что, быть может, мы зря
не взлетели:
нам, одуревшим от всяких утрат и от всяких
торжеств,
самое время использовать опыт крылатых существ.

Нас, тонконогих, и нас, длинношеих, нелепых,
очкастых,
терпят еще и возносят еще при свиданьях
нечастых.
Не потому ли, что нам удалось заработать горбом
точные знания о расстоянии меж Злом и Добром?

И оттого нам теперь ни к чему вычисления эти.
Будем надеяться снова увидеться в будущем лете:
будто лишь там наша жизнь так загадочно
не убывает...
Впрочем, вот ангел над лампой летает...
Чего не бывает?

«Не успел на жизнь обидеться...»

Ю. Даниэлю

Не успел на жизнь обидеться —
вся и кончилась почти.
Стало реже детство видаться,
так, какие-то клочки.

И уже не спросишь, не с кого.
Видно, каждому — свое.
Были песни пионерские,
было всякое вранье.

И по щучьему велению,
по лесам и по морям
шло народонаселение
к магаданским лагерям.

И с фанерным чемоданчиком
мама ехала моя
удивленным неудачником
в те богатые края.

Забываются минувшие
золотые времена;
как монетки утонувшие,
не всплывут они со дна.

Память пылью позасыпало?
Постарел ли?
Не пойму:
вправду ль нам такое выпало?
Для чего? И почему?

Почему нам жизнь намерила
вместо хлеба отрубей?..

Что Москва слезам не верила —
это помню.
Хоть убей.

Кухня

Рождение бифштекса – само волшебство.
Брильянтовых капель без счета.
А эта, которая жарит его,
похожа на рыжего черта.

И этот, из пара родившийся черт,
азы про себя повторяет,
и жарит, и парит, и льет, и печет,
и фартуком лоб утирает.

Она в ароматы смолы и огня
себя погрузить не страшится,
и плавно святая ее пятерня,
как розовый ангел, кружится.

И если в окно заглянуть со двора —
какая бесовская штука:
в чугунной ладье громоздится гора
под кольцами белого лука.

Там все перемешано в соке его,
в прожилках его благородных:
и гибель, и жизни моей торжество,
и хриплые крики голодных.

Из стихов к роману «Свидание с Бонапартом»

Вдали от собственного дома,
на льдине из чужой воды —
следы осеннего разгрома,
побед несбывшихся плоды.
Окончен бой. И в нем, жестоком,
мы проиграли. Генерал
на льдину хрупкую упал.
Войны таинственным итогом
пренебрегая, мертвым оком
последний подает сигнал
прощанья перед встречей с Богом.

И юношеские года,
и лет покойных череда —
все кажется минутным вздором.
Лишь лед Зачанского пруда
(во сне иль наяву) всегда
перед его потухшим взором.

Нам преподало Провиденье
не просто меру поведенья,
а горестный урок паденья;
и за кровавый тот урок
кому тут выскажешь упрек —
пустых словес нагроможденье?

Ну хорошо. Он бездыхан.
А мы-то как же, молодые,
пусть вшивые, но ведь живые?
Неужто из горячих ран
себе соорудим карьеру
и будем хвастаться не в меру
под батальонный барабан?

Август в Латвии

Булочки с тмином. Латышский язык.
Красные сосны. Воскресные радости.
Все, чем живу я, к чему я приник
в месяце августе, в месяце августе.

Не унижайся, видземский пастух,
пестуй осанку свою благородную,
дальней овчарни торжественный дух
пусть тебе будет звездой путеводною.

Не зарекайся, видземский король,
ни от обид, ни от бед, ни от хворости,
не обольщай себя волей, уволь:
вольному – воля, гордому – горести.

Тот, кто блажен, не боится греха.
Бедность и праведность перемежаются.
Дочку отдай за того пастуха,
пусть два источника перемешаются.

Между удачей, с одной стороны,
и неудачей жизнь моя мечется
в сопровождении медной струны
августа месяца, августа месяца.

«У поэта соперников нету...»

У поэта соперников нету
ни на улице и ни в судьбе.
И когда он кричит всему свету,
это он не о вас – о себе.

Руки тонкие к небу возносит,
жизнь и силы по капле губя.
Догорает, прощения просит:
это он не за вас – за себя.

Но когда достигает предела
и душа отлетает во тьму...
Поле пройдено. Сделано дело.
Вам решать: для чего и кому.

То ли мед, то ли горькая чаша,
то ли адский огонь, то ли храм...
Все, что было его, – нынче ваше.
Всё для вас. Посвящается вам.

«С последней каланчи, в Сокольниках стоящей...»

Б. Сарнову

С последней каланчи, в Сокольниках стоящей,
никто не смотрит вдаль на горизонт горящий,
никто не смотрит вдаль, все опускают взор.
На пенсии давно усатый брандмайор.

Я плачу не о том, что прошлое исчезло:
ведь плакать о былом смешно и бесполезно.
Я плачу не о том, что кануло во мгле,
как будто нет усад и ныне на земле.

Я плачу о другом – оно покуда с нами,
оно у нас в душе, оно перед глазами,
еще горяч и свеж его прекрасный след —
его не скроет ночь и не проявит свет.

О чем бы там перо, красуясь, ни скрипело —
душа полна утрат, она не отскорбела.
И как бы ни лились счастливые слова —
душа полна потерь, хоть, кажется, жива.

Ведь вот еще вчера, крылаты и бывалы,
сидели мы рядком, и красные бокалы
у каждого из нас – в изогнутой руке...
Как будто бы пожар – в прекрасном далеке.

И на пиру на том, на празднестве тягучем,
я, видно, был один, как рекрут, не обучен,
как будто бы не мы метались в том огне,
как будто тот огонь был неизвестен мне.

«Ну что, генералиссимус прекрасный...»

Ю. Карякину

Ну что, генералиссимус прекрасный,
потомки, говоришь, к тебе пристрастны?
Их не уgomонить, не упросить...
Одни тебя мордуют и поносят,
другие всё малюют, и возносят,
и молятся, и жаждут воскресить.

Ну что, генералиссимус прекрасный?
Лежишь в земле на площади на Красной...
Уж не от крови ль красная она,
которую ты пригоршнями пролил,
пока свои усы блаженно холил,
Москву обзревая из окна?

Ну что, генералиссимус прекрасный?
Твои клешни сегодня безопасны —
опасен силуэт твой с низким лбом.
Я счета не веду былым потерям,
но, пусть в своем возмездье и умерен,
я не прощаю, помня о былом.

Воспоминание о Дне Победы

Была пора, что входит в кровь, и помнится,
и снится.
Звенел за Сретенкой трамвай, светало
на Мясницкой.
Еще пожар не отгудел, да я отвоевал
в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.

Живые бросились к живым, и было правдой это,
любили женщину одну – она звалась Победа.
Казалось всем, что всяк уже навек отгоревал
в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.

Он нашей собственностью был, и мы клялись
Арбатом.
Еще не знали, кто кого объявит виноватым.
Как будто нас девятый вал отныне миновал
в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.

Какие слезы на асфальт из круглых глаз катились,
когда на улицах Москвы в обнимку мы сходились —
и тот, что пули избежал, и тот, что наповал, —
в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.

«Приносит письма письмоносец...»

М. Козакову

Приносит письма письмоносец
о том, что Пушкин – рогоносец.
Случилось это в девятнадцатом столетье.
Да, в девятнадцатом столетье
влетели в окна письма эти,
и наши предки в них купались, словно дети.

Еще далече до дуэли.
В догадках ближние дурели.
Все созревало, как нарыв на теле... Словом,
еще последний час не пробил,
но скорбным был арапский профиль,
как будто создан был художником Лунёвым.

Я знаю предков по картинкам,
но их пристрастие к поединкам —
не просто жажда проучить и отличиться,
но в кажущейся жажде мести
преобладало чувство чести,
чему с пеленок пофартило им учиться.

Загадочным то время было:
в понятие чести что входило?
Убить соперника и распрямиться сладко?
Но если дуло грудь искало,
ведь не убийство их ласкало...
И это все для нас еще одна загадка.

И прежде чем решать вопросы
про сплетни, козни и доносы
и расковыривать причины тайной мести,
давайте-ка отложим это
и углубимся в дух поэта,
поразмышляем о достоинстве и чести.

Несчастье

Когда бы Несчастье явилось ко мне
в обличии рыцаря да на коне,
грозящем со мной не стесняться, —
я мог бы над ним посмеяться.

Когда бы оно мою жизнь и покой
пыталось разрушить железной рукой
и лик Его злом искажался, —
уж я бы над Ним потешался.

Но дело все в том, что в природе Оно
неясною мерою растворено
и в тучке, и в птичке взлетевшей,
и в брани, что бросил сосед на ходу,
в усмешке, мелькнувшей в минувшем году,
в газете, давно пожелтевшей.

Но в том-то и дело, что нам не видать,
когда Ему выпадет нас испытать
на силу, на волю, на долю.
Как будто бы рядом и нету Его,
как будто бы нет вообще ничего —
а раны посыпаны солью.

Нельзя быть подверженным столь уж всерьез
предчувствиям горьким насмешек и слез,
возможной разлуки и смерти...
Гляди: у тебя изменилось лицо!
Гляди: ты боишься ступить на крыльцо,
и пальцы дрожат на конверте!

И все ж не Ему достаются права,
и все же бессильны его жернова:
и ты на ногах остаешься,
и, маленький, слабый, худой и больной,
нет-нет да объедешь Его стороной,
уйдешь от Него, увернешься.

Наверно, в амбарах души и в крови
хранятся запасы надежд и любви
(а даром они не даются).
И вот, утверждая свое торжество,
бывает, срываешь погоны с Него...
Откуда и силы берутся?

«Черный ворон сквозь белое облако глянет...»

Черный ворон сквозь белое облако глянет —
значит, скоро кровавая музыка грянет.
В генеральском мундире стоит дирижер,
перед ним – под машинку остриженный хор.
У него – руки в белых перчатках.
Песнопенье, знакомое с давешних пор,
возникает из слов непечатных.

Постепенно вступают штыки и мортиры —
значит, скоро по швам расплзутся мундиры,
значит, скоро сподобимся есть за двоих,
забывать мертвецов и бояться живых,
прикрываться истлевшею рванью...
Лишь бы только не спутать своих и чужих,
то проклятья, то гимны горланя.

Разыгрался на славу оркестр допотопный.
Все наелись от пуза музыки окопной.
Дирижер дирижера спешит заменить.
Те, что в поле вповалку (прошу извинить),
с того ворона взоров не сводят,
и кого хоронить, и кому хоронить —
непонятно... А годы уходят.

Все кончается в срок. Лишней крови хватает.
Род людской ведь не сахар: авось не растает.
Двое живы (покуда их вексель продлен),
третий (лишний, наверно) в раю погребен,
и земля словно пух под лопатой...
А над ними с прадедовых самых времен —
черный ворон, во всем виноватый.

Работа

Жест. Быстрый взгляд. Движение души.
На кончике ресницы – влага.
Отточены карандаши,
и приготовлена бумага.

Она бела, прохладна и гладка.
Друзья примолкли сиротливо.
А перспектива так сладка
в зеленом поле объектива.

Определяю день и час,
события изобретаю,
как ворон, вытаращив глаз,
над жертвою очередной витаю.

Нелепо скрючена рука,
искажены черты и поза...
Но перспектива как сладка!
Какая вызревает проза!

Уж целый лист почти совсем готов,
и вдруг как будто прозреваю:
как нищ и беден мой улов,
не те цветы ищу я и срываю.

И жар ловлю не от того огня,
и лгу по мелочам природе...
Что стоит помолиться за меня?
Да нынче вам не до молитвы вроде.

И вновь:
Я. Злость. И трепет у виска.
И пот... Какой квартет отличный!
А перспектива так близка,
и сроки жизни безграничны.

Песенка о молодом гусаре

Грозной битвы пылают пожары,
и пора уж коней под седло.
Изготовились к схватке гусары:
их счастливое время пришло.
Впереди – командир, на нем новый мундир,
а за ним – эскадрон после зимних квартир.
А молодой гусар, в Амалию влюбленный,
он все стоит пред ней коленопреклоненный.

Все погибли в бою. Флаг приспущен.
И земные дела не для них.
И летят они в райские кущи
на конях на крылатых своих.
Впереди – командир, на нем рваный мундир,
а за ним – тот гусар покидает сей мир.
Но чудится ему: по-прежнему влюбленный
он все стоит пред ней коленопреклоненный.

Вот иные столетья настали,
и несчетно воды утекло,
и давно уже нет той Амальи,
и в музее пылится седло.
Позабыт командир – дам уездных кумир.
Жаждет новых потех просвещенный наш мир...
А юный тот гусар, в Амалию влюбленный,
опять стоит пред ней коленопреклоненный.

Надпись на камне

*Посвящается московским
школьникам 33-ей школы,
придумавшим слово «арбатство»*

Пускай моя любовь как мир стара, —
лишь ей одной служил и доверялся
я – дворянин арбатского двора,
своим двором введенный во дворянство.

За праведность и преданность двору
пожалован я кровью голубою.
Когда его не станет – я умру,
пока он есть – я властен над судьбою.

Молва за гробом чище серебра
и вслед звучит музыкою прекрасной...
Но ты, моя фортуна, будь добра,
не выпускай моей руки несчастной.

Не плачь, Мария, радуйся, живи,
по-прежнему встречай гостей у входа...
Арбатство, растворенное в крови,
неистребимо, как сама природа.

Арбатские напевы

1. «Все кончается неумолимо...»

Все кончается неумолимо.
Миг последний печален и прост.
Как я буду без вас в этом мире,
протяженном на тысячи верст,
где всё те же дома и деревья,
и метро, и в асфальте трава,
но иные какие-то лица,
и до вас достучишься едва?

В час, когда распускаются розы,
так остры обонянье и взгляд,
и забытые мной силуэты
в земляничных дворах шелестят,
и уже по-иному крылато
все, что было когда-то грешно,
и спастись от вечной разлуки
унизительно мне и смешно.

Я унижен тобою, разлука,
и в изменника сан возведен,
и уже укоризны поспели
и слетаются с разных сторон,
что лиловым пером заграничным,
к меловым прикасаясь листам,
я тоскую, и плачу, и грежу
по святым по арбатским местам.

Да, лиловым пером из Риеки
по бумаге веду меловой,
лиловеет души отраженье —
этот оттиск ее белой,
эти самые нежность и робость,
эти самые горечь и свет,
из которых мы вышли, возникли.
Сочинились...
И выхода нет.

2. «Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант...»

Ч. Амирэджоби

Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант.
В Безбожном переулке хиреет мой талант.
Вокруг чужие лица, безвестные места.
Хоть сауна напротив, да фауна не та.

Я выселен с Арбата и прошлого лишен,
и лик мой чужеземцам не страшен, а смешон.
Я выдворен, затерян среди чужих судеб,
и горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб.

Без паспорта и визы, лишь с розою в руке
слоняюсь вдоль незримой границы на замке
и в те, когда-то мною обжитые края
все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.

Там те же тротуары, деревья и дворы,
но речи несердечны и холодны пиры.
Там так же полыхают густые краски зим,
но ходят оккупанты в мой зоомагазин.

Хозяйская походка, надменные уста...
Ах, флора там все та же, да фауна не та...
Я эмигрант с Арбата. Живу, свой крест неся...
Заледенела роза и облетела вся.

«Я горой за сюжетную прозу...»

Я горой за сюжетную прозу,
за красотку, что высадит розу
под окошком, у самых дверей.
Она холит ее, поливает,
поливает, как будто справляет
день рождения розы своей.

Распускается каждая ветка.
А потом появляется некто
неизвестно зачем, почему.
Выбрав время, и место, и позу,
наша барышня красную розу,
розу красную дарит ему.

Дверь распахнута. Пропасть разверста.
Всё там есть, и всему там есть место:
и любви, и войне, и суме...
И бушует житейское море,
и спасается кто-то от горя,
но стреляется кто-то во тьме.

К сожалению, все отцветает.
Наша жизнь – она тоже ведь тает,
и всегда невпопад, как на грех.
Даже если решение не близко,
все зависит от степени риска,
от таланта зависит успех.



Не ищите сюжеты в комодѣ,
а ищите сюжеты в природе.
Без сюжета и прозы-то нет.
Да, бывает, что всё – под рукою:
и идеи, и мысли – рекою,
даже деньги...
Но нужен сюжет.

«Всему времечко свое: лить дождю, Земле вращаться...»

Всему времечко свое: лить дождю,
Земле вращаться,
знать, где первое прозрение,
где последняя черта...
Началась вдруг война – не успели попрощаться,
адресами обменяться... Не успели ни черта.

Где встречались мы потом? Где нам выпала прописка?
Где сходились наши души, воротясь с передовой?
На поверхности ль земли? Под пятой ли обелиска?
В гастрономе ли арбатском? В черной туче ль грозовой?

Всяк неправедный урок впрок затвержен и заучен,
ибо праведных уроков не бывает. Прах и тлен.
Руку на сердце кладя, разве был я невезучим?
А вот надо ж, сердце стынет в ожиданье перемен.

Гордых гимнов, видит Бог, я не пел окопной каше.
От разлук не зарекаюсь и фортуны не кляню...
Но на мягкое плечо, на вечернее, на ваше,
если вы не возражаете, я голову склоню.

Прогулки фраеров

Оле

По прихоти судьбы – Разносчицы даров —
в прекрасный день мне откровенья были.
Я написал роман «Прогулки фраеров»,
и фраера меня благодарили.

Они сидят в кружок, как пред огнем святым,
забытое людьми и богом племя,
каких-то горьких дум их овевает дым,
и приговор нашептывает время.

Они сидят в кружок под низким потолком.
Освистаны их речи и манеры.
Но вечные стихи затвержены тайком,
и сундучок сколочен из фанеры.

Наверно, есть резон в исписанных листах,
в затверженных местах и в горстке пепла...
О, как сидят они с улыбкой на устах,
прислушиваясь к выкрикам из пекла!

Пока не замело следы на их крыльце
и ложь не посмеялась над судьбою,
я написал роман о них, но в их лице
о нас: ведь все, мой друг, о нас с тобою.

Когда в прекрасный день Разносчица даров
вошла в мой тесный двор, бродя дворами,
я мог бы написать, себя переборов,
«Прогулки маляров», «Прогулки поваров»...
Но по пути мне вышло с фраерами.

Парижская фантазия

Т. Кульмановой

У парижского спаниеля лик французского короля,
не погибшего на эшафоте, а достигшего славы
и лени:
набекрень паричок рыжеватый, милосердие в каждом
движенье,
а в глазах, голубых и счастливых, отражаются жизнь
и земля.

На бульваре Распай, как обычно, господин Доминик
у руля.
И в его ресторанчике тесном заправляют полдневные
тени,
петербургскою ветхой салфеткой прикрывая от пятен
колени,
розу красную в лацкан вонзая, скатерть белую
с хрустом стеля.

Этот полдень с отливом зеленым между нами
по горстке деля,
как стараются неутомимо Бог, Природа, Судьба,
Провиденье,
короли, спаниели, и розы, и питейные все заведенья.
Сколько прелести в этом законе! Но и грусти порой...
Voilà!

Если есть еще позднее слово, пусть замолвят его
обо мне.
Я прошу не о вечном блаженстве — о минуте
возвышенной пробы,
где возможны, конечно, утраты и отчаянье даже,
но чтобы —
милосердие в каждом движенье и красавица
в каждом окне!

«Нужны ли гусару сомненья...»

Ю. Давыдову

Нужны ли гусару сомненья,
их горький и въедливый дым,
когда он в доспехах с рожденья
и слава всегда перед ним?

И в самом начале сраженья,
и после, в пылу, и потом
нужны ли гусару сомненья
в содеянном, в этом и в том?

Покуда он легок, как птица,
пока он горяч и в седле,
врагу от него не укрыться:
нет места двоим на земле.

И что ему в это мгновенье,
когда позади – ничего,
потомков хула иль прощенье?
Они не застанут его.

Он только пришел из похода,
но долг призывает опять.
И это, наверно, природа,
которую нам не понять.

... Ну ладно. Враги перебиты,
а сам он дожил до седин
и, клетчатым пледом прикрытый,
рассеянно смотрит в камин.

Нужны ли гусару сомненья,
хотя бы в последние дни,
когда, огибая поленья,
в трубе исчезают они?

Полдень в деревне (поэма)

Вл. Соколову

1

У дороги карета застыла.
Изогнулся у дверцы лакей.
За дорогой не то чтоб пустыня —
но пейзаж без домов и людей.
Знатный баловень сходит с подножки,
просто так, подышать тишиной.
Фрак малиновый, пряжки, застёжки
и платочек в руке кружевной.

2

У оврага кузнечик сгорает,
рифмы шепчет, амброзию пьёт
и худым локотком утирает
вдохновенья серебряный пот.
Перед ним – человечек во фраке
на природу глядит свысока
и журчанием влаги в овраге
снисходительно дышит пока.

Ах, кузнечик, безумный и сирый,
что ему твои рифмы и лиры,
строки твоих и напевов тщета?
Он иной, и иные кумиры
перед ним отворяют врата.

Он с природою слиться не хочет...
Но, назойлив и неутомим,
незнакомый ему молоточек
монотонно стрекочет пред ним.

3

Вдруг он вздрогнул. Надменные брови
вознеслись неизвестно с чего,
и гудение собственной крови
докатилось до слуха его.

Показалось смешным все, что было,
еле видимым сквозь дерева.
Отголоски житейского пира
в этот мир пробивались едва.
Что-то к горлу его подступило:
то ли слезы, а то ли слова...

Скинул фрак. Закатал рукава...
На платке оборвал кружева...

То ли клятвы, а то ли признанья
звучали в его голове...

4

И шагнул он, срывая дыханье,
спотыкаясь о струны в траве,
закружился, цветы приминяя,
пятерней шевелюру трепля,

рифмы пробуя, лиру ломая
и за ближнего небо моля.
Он не то чтобы к славе стремился —
просто жил, искушая судьбу...

И серебряный пот заструился
по его невеликому лбу.
Ручка белая к небу воздета.
В глазках карих – ни зла, ни обид...

5

Заждалась у дороги карета,
и лакей на припеке храпит.

Дорожная песня

Еще он не шит, твой наряд подвенечный,
и хор в нашу честь не споеет...
А время торопит – возница беспечный, —
и просятся кони в полет.

Ах, только бы тройка не сбилась бы с круга,
не смолк бубенец под дугой...
Две вечных подруги – любовь и разлука —
не ходят одна без другой.

Мы сами раскрыли ворота, мы сами
счастливую тройку впрягли,
и вот уже что-то сияет пред нами,
но что-то погасло вдали.

Святая наука – расслышать друг друга
сквозь ветер, на все времена...
Две странницы вечных – любовь и разлука —
поделятся с нами сполна.

Чем дольше живем мы, тем годы короче,
тем слаще друзей голоса.
Ах, только б не смолк под дугой колокольчик,
глаза бы глядели в глаза.

То берег – то море, то солнце – то выюга,
то ангелы – то воронье...
Две вечных дороги – любовь и разлука —
проходят сквозь сердце мое.

Настольные лампы

Арсению Тарковскому

Обожаю настольные лампы,
угловатые, прошлых времен.
Как они свои круглые лапы
умещают средь книг и тетрадей,
под ажурную сенью знамен,
возвышаясь не почестей ради,
как гусары на райском параде
от рождения до похорон!

Обожаю на них абажуры,
кружевные, неярких тонов,
нестареющие их фигуры
и немного надменные позы.
И путем, что, как видно, не нов,
ухожу от сегодняшней прозы
и уже настоящие слезы
проливать по героям готов.

Укрощает настольные лампы
лишь всесильного утра река.
Исчезает, как лиры и латы,
вдохновенье полночной отваги.
Лишь вздымают крутые бока
аккуратные груды бумаги,
по которым знакомые знаки
равнодушно выводит рука.

Свет, растекшийся под абажуром,
вновь рождает надежду и раж,
как приветствие сумеркам хмурым,
как подобье внезапной улыбки...
Потому что чего не отдашь
за полуночный замысел зыбкий,
за отчаяние, и ошибки,
и победы – всего лишь мираж?

«Глас трубы над городами...»

Глас трубы над городами,
под который, так слабы,
и бежали мы рядами,
и лежали как снопы.

Сочетанье разных кнопок,
клавиш, клапанов, красот;
даже взрыв, как белый хлопок,
безопасным предстает.

Сочетанье ноты краткой
с нотой долгою одной —
вот и все, и с вечной сладкой
жизнью кончено земной.

Что же делать с той трубою,
говорящей не за страх
с нами, как с самой собою,
в доверительных тонах?

С позолоченной под колос,
с подрумяненной под медь?..
Той трубы счастливый голос
всех зовет на жизнь и смерть.

И не первый, не последний,
а спешу за ней, как в бой,
я – пятидесятилетний,
искушенный и слепой.

Как с ней быть? Куда укрыться,
чуя гибель впереди?..
Отвернуться?
Притвориться?
Или вырвать из груди?..

Примета

А. Жигулину

Если ворон в вышине,
дело, стало быть, к войне.
Если дать ему кружить —
значит, всем на фронт иттить.

Чтобы не было войны,
надо ворона убить.
Чтобы ворона убить,
надо ружья зарядить.

А как станем заряжать,
всем захочется стрелять.
Ну а как стрельба пойдет,
пуля дырочку найдет.

Ей не жалко никого,
ей попасть бы хоть в кого,
хоть в чужого, хоть в своего...
Во, и боле ничего.

Во, и боле ничего.
Во, и боле никого,
кроме ворона того:
стрельнуть некому в него.

«Поздравьте меня, дорогая: я рад, что остался в живых...»

Поздравьте меня, дорогая: я рад, что остался
в живых,
сгорая в преддверии рая средь маршалов и рядовых,
когда они шумной толпою, в сиянии огненных стрел,
влекли и меня за собою... Я счастлив, что там
не сгорел.

Из хроник, прочитанных мною, в которых —
судьба и душа,
где теплится пламя бывшее условно, почти не дыша,
являются мне не впервые, как будто из чаши густой,
то флаги любви роковые, то знаки надежды пустой,

то пепел, то кровь, а то слезы — житейская наша
река.

Лишь редкие красные розы ее украшают слегка.
И так эта реченька катит, и так не устала катить,
что слез никаких и не хватит, чтоб горечь утрат
оплатить.

Судьба ли меня защитила, собою укрыв от огня!
Какая-то тайная сила всю жизнь охраняла меня.
И так все сошлось, дорогая: наверно, я т а м
не сгорел,
чтоб выкрикнуть з д е с ь, догорая, про то,
что другой не успел.

«Внезапно сник мороз, и ртутный столб взлетел...»

Внезапно сник мороз, и ртутный столб взлетел.
Узкоколейка санная
коробится манерно.
Неужто это то, чего я так хотел?
А впрочем, это самое
из нужного, наверно.

Вот обрубает лед ленивым топором,
и ручейками хилыми
стекает он в овраги.
А я пишу стихи отточенным пером
лиловыми чернилами
на меловой бумаге.

Во всем видны судьба и пламень, и порыв.
И с замятиями снежными
разделаться несложно.
Надеюсь, что не зря все, чем я жил и жив...
И я живу надеждами.
Иначе невозможно.

Перед телевизором

Слишком много всяких танков, всяких пушек
и солдат.
И военные оркестры слишком яростно гремят,
и седые генералы, хоть не сами пули льют —
но за скорые победы с наслаждением водку пьют.
Я один. А их так много, и они горды собой,
и военные оркестры заглушают голос мой.

«Кого бояться и чего стесняться?..»

Кого бояться и чего стесняться?
Все наперед расписано уже.
Когда придется с критиком стреляться,
возьму старинный лефоше¹.
За позабытым Спасом, что на Пёсках,
разметим смертный путь.
Средь аргументов между нами веских, —
ему прицелюсь в грудь.
Вот он стоит, похожий на лакея,
уставясь трехлинеечкой в меня,
хозяин и Арбата, и Лицея,
и прошлого, и нынешнего дня.

Он не спешит, заступничек народный,
на мушку жизнь мою берет,
и лефоше мой, слишком благородный,
не выстрелит, я знаю наперед.
Я как последний юнкер безоружен,
в лакейскую затею вовлечен...
Но вот курок нажат, Арбат разрушен,
кто прозевал свой выстрел — обречен.

Там, за спиной — чугунная ограда
кругла как мученический венец...
А благородство — это ль не награда
в конце концов за поздний сей конец?

¹ Лефоше — дуэльный пистолет.

«Все глуше музыка души...»

Все глуше музыка души,
все звонче музыка атаки.
Но ты об этом не спеши:
не обмануться бы во мраке,
что звонче музыка атаки,
что глуше музыка души.

Чем громче музыка атак,
тем слаще мед огней домашних.
И это было только так
в моих скитаниях вчерашних:
тем слаще мед огней домашних,
чем громче музыка атак.

Из глубины ушедших лет
еще вернее, чем когда-то, —
чем звонче музыка побед,
тем горше каждая утрата,
еще вернее, чем когда-то,
из глубины ушедших лет.

И это все у нас в крови,
хоть этому не обучали:
чем выше музыка любви,
тем громче музыка печали,
чем громче музыка печали,
тем чище музыка любви.

«Под Мамонтовкой жгут костры...»

Под Мамонтовкой жгут костры
бродяги иль студенты...
Ах, годы детства так пестры,
как кадры киноленты!

Еще не найдена стезя
меж адом и меж раем,
и все пока в живых друзья,
и мы в войну играем.

Еще придет пора разлук
и жажда побороться.
Еще все выпадет из рук —
лишь мелочь подберется.

Но это все потом, потом,
когда-нибудь, быть может.
И нету сведений о том,
что Время нам предложит.

Еще придет тот главный час
с двенадцатым ударом,
когда добром помянут нас
и проклянут задаром.

Еще повеет главный час
разлукой ледяною,
когда останутся от нас
лишь крылья за спиною.

«Как наш двор ни обижали – он в классической поре...»

Как наш двор ни обижали – он в классической поре.
С ним теперь уже не справиться,
хоть он и безоружен.
А там Володя во дворе,
его струны в серебре,
его пальцы золотые, голос его нужен.

Как с гитарой ни боролись —
распался струнный звон.
Как вино стихов ни портили —
все крепче становилось.
А кто сначала вышел вон,
а кто потом украл вагон —
все теперь перемешалось, все объединилось.

Может, кто и нынче снова хрипote его не рад,
может, кто намеревается подлить в стихи елея...
А ведь и песни не горят,
они в воздухе парят,
чем им делают большее – тем они сильнее.

Что ж печалиться напрасно: нынче слезы
лей – не лей,
но запомним хорошенечко и повод, и причину...
Ведь мы воспели королей
от Таганки до Филей,
пусть они теперь поэту воздадут по чину.

Мой почтальон

Всяк почтальон в этом мире, что общеизвестно,
корреспонденцию носит и в двери стучит.
Мой почтальон из другого какого-то теста:
писем ко мне не приносит, а только молчит.

Топчется в темной прихожей в молчании строгом,
круг оттоптал на пороге у самых дверей.
Радостный день и объятия там, за порогом,
горестный мрак и утрата в пещере моей.

Мой почтальон презирует меня и боится,
жаждет скорей от меня отбояриться, плут.
Там, за порогом, мелькают счастливые лица,
там ни о чем не жалеют и писем не ждут.

Вот наконец, изгибаясь и кланяясь, что ли,
будто спасаясь, спешит по обратной тропе.
Как он вздыхает легко, оказавшись на воле,
как ни о чем не жалеет, теряясь в толпе.

«По Грузинскому валу воинственно ставя носок...»

По Грузинскому валу воинственно ставя носок,
ты как будто в полете, и твой золотой голосок
в простодушные уши продрогших прохожих струится.
Но хотя он возвышен, и ярок, и чист, и высок,
не успеешь моргнуть – а уже просочился в песок,
и другими уже голосами гордится столица.

Как чиновна она, неприступна она, брат, с крыльца,
и не сходит уже позолота с ее, брат, лица,
так что в тесном квадрате двора поспевай, брат,
вертеться.

Где уж годы беречь, если сыплются дождичком дни,
и тяжки и горьки, как свинцовые пульки, они,
и ложатся один за другим возле самого сердца.

И фортуна твоя, подбоченьясь, глядит из окна,
ослепленная мыслью, что ей перспектива видна
меж домов и дворов... Будто это и есть перспектива.
И дорога твоя от рожденья – то мир, то война,
и привычные с детства горят вдоль нее письмена:
то «Вернись!», то «Ступай!», то «Прости!»,
то «Прощай!», то «Счастливо!».

По Грузинскому валу к финалу рабочего дня,
заломив козырек, ошалев от обид и вранья,
независимый облик храня, прогуляться неплохо...
Навостриться бы мне разводить своих братьев
плечом,
научиться бы мне, чтобы так не жалеть ни о чем,
да, как видно, уже не успеть до последнего вздоха.

«Пока от вранья не отвыкнем...»

Пока от вранья не отвыкнем
традиции древней назло,
покуда не всхлипнем, не вскрикнем:
куда это нас занесло?! —

пока покаянного слова
не выдохнет впалая грудь,
придется нам снова и снова
холопскую лямку тянуть.

«Шестидесятники развенчивать усатого должны...»

Лену Карпинскому

Шестидесятники развенчивать усатого должны,
и им для этого особые приказы не нужны:
они и сами, словно кони боевые,
и бьют копытами, пока еще живые.

Ну а кому еще рассчитывать в той драке на успех?
Не зря кровавые отметины видны на них на всех.
Они хлебнули этих бед не понаслышке.
Им все маячило – от высылки до вышки.

Судьба велит шестидесятникам исполнить этот долг,
и в этом их предназначение, особый смысл и толк.
Ну а приказчики, влюбленные в деспота,
пусть огрызаются – такая их работа.

Шестидесятникам не кажется, что жизнь
сгорела зря:
они поставили на родину, короче говоря.
Она, конечно, в суете о них забудет,
но ведь одна она. Другой уже не будет.

«Славная компания... Что же мне решить?..»

Славная компания... Что же мне решить?
Сам я непьющий, – друзья подливают.
Умирать не страшно – страшно не жить.
Вот какие мысли меня одолевают.

Впрочем, эти мысли высказал Вольтер.
Надо иногда почитать Вольтера.
Запад, конечно, для нас не пример.
Впрочем, я не вижу лучшего примера.

Памяти брата моего Гиви

На откосе, на обрыве
нашей жизни удалой
ты не удержался, Гиви,
стройный, добрый, молодой.

Кто толкнул тебя с откоса,
не сказав тебе «прощай»,
будто рюмочку – с подноса,
будто вправду невзначай?

Мы давно отвоевали.
Кто же справился с тобой?
Рок ли, время ли, молва ли,
вождь ли, мертвый и рябой?

Он и нынче, как ни странно —
похоронен и отпет, —
усмехается с экрана,
а тебя в помине нет.

Стих на сопках Магадана
лай сторожевых собак,
но твоя большая рана
не рубцется никак.

И кого теперь с откоса
по ранжиру за тобой?..
Спи, мой брат беловолосый,
стройный, добрый, молодой.

Гимн уюту

А. Пугачевой

Слава и честь самовару —
первенцу наших утех!
Но помяну и гитару —
главную даму из всех.

Вот он – хозяин уюта,
золотом светится медь.
Рядом – хозяйка, как будто
впрямь собирается спеть.

Он запыхтит, затрясется,
выбросит пар к потолку —
тотчас она отзовется
где-нибудь здесь, в уголку.

Он не жалеет водицы
в синие чашки с каймой, —
значит, пора насладиться
пеньем хозяйки самой.

Бог не обидел талантом,
да и хозяин как бог,
вторит хозяйке дискантом,
сам же глядит за порог:

там, за порогом, такое,
что не опишешь всего...
Царствуй, хозяин покоя:
праведней нет ничего.

Слава и честь самовару!
Но не забудем, о нет,
той, что дана ему в пару,
талию и силуэт.

Врут, что она увядает.
Время ее не берет.
Плачет она и сгорает,
снова из пепла встает.

Пой же, и все тебе будет:
сахар, объятья и суд,
и проклянут тебя люди,

и до небес вознесут.

Пойте же, будет по чести
воздано вам за уют...
Вот и поют они вместе,
плачут и снова поют.

«Не сольются никогда зимы долгие и лета...»

Не сольются никогда зимы долгие и лета:
у них разные привычки и совсем несхожий вид.
Не случайны на земле две дороги – та и эта,
та натруживает ноги, эта душу бережит.

Эта женщина в окне в платье розового цвета
утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез,
потому что перед ней две дороги – та и эта,
та прекрасна, но напрасна, эта, видимо, всерьез.

Хоть разбейся, хоть умри – не найти верней ответа,
и куда бы наши страсти нас с тобой ни завели,
неизменно впереди две дороги – та и эта,
без которых невозможно, как без неба и земли.

«Ну чем тебе потрафить, мой кузнечик?..»

Ю. Киму

Ну чем тебе потрафить, мой кузнечик?
Едва твой гимн пространства огласит,
прислушаться – он от скорбей излечит,
а вслушаться – из мертвых воскресит.

Какой струны касаешься прекрасной,
что тотчас за тобой вступает хор
таинственный, возвышенный и страстный
твоих зеленых братьев и сестер?

Какое чудо обещает скоро
слететь на нашу землю с высоты,
что так легко, в сопровождение хора,
так звонко исповедуешься ты?

Ты тоже из когорты стихотворной,
из нашего бессмертного полка.
Кричи и плачь. Авось твой труд упорный
потомки не оценят свысока.

Поэту настоящему спасибо,
руке его, безумию его
и голосу, когда, взлетев до хрипа,
он неба достигает своего.

Письмо к маме

Ты сидишь на нарах посреди Москвы.
Голова кружится от слепой тоски.
На окне – намордник, воля – за стеной,
ниточка порвалась меж тобой и мной.
За железной дверью топчется солдат...
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь – он за весь народ.

Следователь юный машет кулаком.
Ему так привычно звать тебя врагом.
За свою работу рад он попотеть...
Или ему тоже в камере сидеть?
В голове убогой – трехэтажный мат...
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь – он за весь народ.

Чуть за Красноярском – твой лесоповал.
Конвоир на фронте сроду не бывал.
Он тебя прикладом, он тебя пинком,
чтоб тебе не думать больше ни о ком.
Тулуп на нем жарок, да холоден взгляд...
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь – он за весь народ.

Вождь укрылся в башне у Москвы-реки.
У него от страха паралич руки.
Он не доверяет больше никому,
словно сам построил для себя тюрьму.
Все ему подвластно, да опять не рад...
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь – он за весь народ.

«После дождичка небеса просторны...»

После дождичка небеса просторны,
голубей вода, зеленее медь.
В городском саду – флейты да валторны.
Капельмейстеру хочется взлететь.

Ах, как помнятся прежние оркестры,
не военные, а из мирных лет!
Расплескалася в улочках окрестных
та мелодия... А поющих нет.

С нами женщины. Все они красивы.
И черемуха – вся она в цвету.
Может, жребий нам выпадет счастливый:
снова встретимся в городском саду.

Но из прошлого, из былой печали,
как ни сетую, как там ни молю,
проливается черными ручьями
эта музыка прямо в кровь мою.

Памяти Обуховой

Е. Камбуровой

Когда б вы не спели тот старый романс,
я верил бы, что проживу и без вас,
и вы бы по мне не печалились и не страдали.
Когда б вы не спели тот старый романс,
откуда нам знать, кто счастливей из нас?
И наша фортуна завиднее стала б едва ли.

И вот вы запели тот старый романс,
и пламень тревоги, как свечка, угас.
И надо ли было, чтоб сник этот пламень тревоги?
И вот вы запели тот старый романс,
но пламень тревоги, который угас,
опять разгорелся, как поздний костер у дороги.

Зачем же вы пели тот старый романс?
Неужто всего лишь, чтоб боль улеглась?
Чтоб боль улеглась, а потом чтобы вспыхнула снова?
Зачем же вы пели тот старый романс?
Он словно судьба расплескался меж нас,
всё, капля по капле, и так до последнего слова.

Когда б вы не спели тот старый романс,
о чем бы я вспомнил в последний свой час,
ни сердца, ни голоса вашего не представляя?
Когда б вы не спели тот старый романс,
я умер бы, так и не зная о вас,
лишь черные даты в тетради души проставляя.

«Мне не в радость этот номер...»

Мне не в радость этот номер,
телевизор и уют.
Видно, надо, чтоб я помер —
все проблемы отпадут.

Ведь они мои, и только.
Что до них еще кому?
Для чего мне эта койка —
на прощание пойму.

Но когда за грань покоя
преступлю я налегке,
крикни что-нибудь такое
на грузинском языке.

Крикни громче, сделай милость,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.